

"Отец!.. Мне кажется, его я вижу"

С годами чаще ощущаю потребность достать в свободную минуту альбом со старыми семейными фотографиями и, неторопливо "листая жизнь свою", всматриваюсь в лица тех, кого уже не вернешь. Вот на пожелтевших снимках родители совсем молодые, то одни, то в приятельской компании, вот они со своим чадом (со мной, то бишь)... А вот вышеупомянутый во младенчестве; забавная фотография, на которой делаю первые шаги, вот-вот упаду... Фотографировал отец своим старым аппаратом с громким названием "Фотокорр". Сегодня, в век цифровой фототехники, истинные коллекционеры, говорят, охотятся за этим черным ящичком, крепившимся на шатком деревянном штативе, раздвинуть который стоило немало труда, с объективом на выдвижной гармошке, с пластинками, проявлять которые было совсем не просто. Этот наш аппарат со штативом пережил, как ни странно, и ленинградскую блокаду, и переезды поздневоенных лет, и еще несколько лет служил после войны. Папа, любивший фотографию, но занимавшийся ею от случая к случаю, очень ценил его. Потом появились у нас камеры поновее, а он все вспоминал замечательную "глубину резкости" того старого "Фотокорра".

Где взять ту "глубину резкости", чтобы воспроизвести словами достаточно живой и узнаваемый портрет отца моего, Георгия Гавриловича Соколянского?

Почему-то даже самые близкие люди, как правило, запечатлеваются в памяти не столько целостно, сколько по отдельным рельефным деталям, житейским приметам, наименованиям, исключительно с ними ассоциируемым. Помню, как в первые два-три года своего профессорства я невольно вздрагивал, когда кто-то рядом произносил эти два слова "профессор Соколянский": отца уже не было в живых, а названное словосочетание у меня связывалось с ним и только с ним.

Рассуждая в реалиях XIX столетия, на исходе которого отец успел родиться, нужно сказать, что принадлежал он к *разночинной* интеллигенции. Его родители происходили из крестьян. Дед мой был уроженцем Харьковской губернии, в молодости отслужил в царской армии. Сохранился ветхий документ — "Свидетельство о выполнении воинской повинности", где четким писарским почерком зафиксировано, что "ротный капитанармус Гавриил Макаров сын Соколянский уволен в запас в сентябре 1891 г."; дальше идут отметки, как мы бы сказали, о взятии на учет и сня-

тии с оного. Правда, к моменту появления на свет старших детей (у отца моего было двое старших братьев и младшая сестра) дед уже овладел профессией почтальона. Эта профессия — при совсем не высоком жалованье и жене-домохозяйке — позволила ему не просто прокормить семью, но и дать четырем детям среднее образование в соответствии с их способностями; трое закончили гимназию. Дальше каждый из них продвигался по жизни собственным путем.

Своей *малой родиной* отец считал Ставрополь, хотя на свет появился — согласно метрической записи — в селе Медвежье Ставропольской губернии в 1899 г. Правда, вскоре после его рождения семья переехала в Ставрополь, где прожил Георгий Соколянский безвыездно первые восемнадцать лет. В мае памятного 1917 года он закончил Ставропольскую классическую гимназию с золотой медалью. Отправился в Нижний Новгород, где в годы Первой мировой войны работал в эвакуации Варшавский политехнический институт, был зачислен студентом этого учебного заведения, но, проучившись один лишь семестр, понял, что его влечет совсем другое поприще. Забрал документы, поехал в Ростов-на-Дону и поступил на медицинский факультет Донского государственного университета. Прослушав там "полный курс медицинских наук", сдал весной 1923 г. государственные испытания, после чего ему было "предоставлено" (канцелярит того времени!) звание врача.

Путь отца в медицинскую науку был весьма нелегким. Начать с того, что его университетские годы пришлось на время беспокойное и тяжкое. Гражданская война и ее последствия коснулись Ростова и Северного Кавказа в полной мере. Будучи студентом, впервые узнал отец, что такое голод и как бывает неумоги́мо заниматься зимой в неотапливаемых помещениях. Начинаящим врачом вернулся на два года в Ставрополь, где прослужил ординатором краевой нейропсихиатрической больницы. Сперва пришлось поработать в психиатрическом отделении, но пройдя вскоре курс специализации при Ленинградском институте усовершенствования врачей, потянулся к неврологии, а в начале 1926 г. переехал в Ленинград, где была тогда самая сильная в стране психоневрологическая научная и врачебная школа.

В большом городе молодому врачу сразу же пришлось совмещать работу в разных местах — в диспансерах, поликлиниках и амбулаториях: нужно было не только себе на жизнь заработать, но и по возможности помогать родителям. Желание достичь высокого профессионализма привело его в клинику нервных болезней Ленинградского института усовер-

шенствования врачей (ГИДУВ'а), где он несколько лет без всякого вознаграждения трудился врачом-экстерном, а затем сверхштатным ассистентом клиники, совмещая эти занятия со службой для заработка.

Возглавлял ту кафедру тогда профессор Леонид Васильевич Блуменау — один из основоположников отечественной невропатологии, человек рафинированной культуры, абсолютно далекий от всякой советско-жизнейской суеты. Отец много рассказывал мне об этой интересной личности, а взятая в рамку фотография Блуменау висела у него и в поздние годы над письменным столом. Замечательную книгу учителя "Мозг человека" с теплым инскриптом папа хранил среди реликвий. Когда в начале 1960-х гг. почти незаметным прошло столетие со дня рождения Блуменау, отец не без труда поместил свою юбилейную статью об учителе в журнале "Врачебное дело". Для меня уже в студенческую пору Л.В. Блуменау представлял особый интерес еще и как поэт-переводчик, знаток классических языков и литератур. Подготовленная им антология "Греческие эпиграммы", где составителю принадлежат все переводы, примечания и вступление, вышла в издательстве "Academia" в 1935 году и до сих пор, как считают антиковеды, не утратила своей ценности.

Под руководством Блуменау выполнил отец в конце 1920-х гг. свои первые научные работы. Самую раннюю из них послал — по совету учителя — в специальный психоневрологический журнал в Германию. Статья была очень скоро опубликована, а редакция приглашала "доктора Соколянского" присылать им и последующие труды. Еще одна его статья увидела свет в том же журнале (тогда же появились у отца публикации и в ленинградских изданиях), но на этом зарубежные научные связи прервались: Германия резко *покоричневела*, а затем и в Советском Союзе контакты с "заграницей" стали рассматриваться соответствующими органами как пятно на биографии научного работника.

Вскоре он смог расстаться с поликлиникой, заняв штатную должность ассистента клиники невропатологии младенчества при Институте мозга, который возглавлял тогда человек с громким научным именем — академик В.М. Бехтерев. Помню, когда летом 1955 г. мы всей семьей приехали недели на две в Ленинград, друзья и сотрудники отца по Институту мозга подарили ему большой фотопортрет Бехтерева. Бывшие коллеги говорили между собой — правда, с недомолвками — о том, что Владимир Михайлович умер-де в 1927 г. не своей смертью, а мне, шестнадцатилетнему, было невдомек, о чем шла речь. Лишь позднее вскрылись факты, подтверждающие версию, согласно которой знаменитому психоневрологу по-

сле того, как он консультировал Сталина и проговорился, что "вождь", по видимому, страдает паранойей, "помогли" покинуть этот мир.

Нужно сказать, что с учителями отцу крепко повезло. После школы Блуменау и Бехтерева работал он — в разных медвузах и научно-исследовательских институтах Ленинграда — под руководством таких замечательных специалистов, как профессора М.П. Никитин, Е.Л. Вендерович, С.Н. Давиденков. Сергей Николаевич Давиденков, впоследствии действительный член Академии медицинских наук СССР и в послевоенные годы ведущий невропатолог страны, был личностью запоминающейся, харизматической. Точная и образная речь, недюжинное чувство юмора, великолепная память! Кроме того, был Сергей Николаевич от природы одаренным живописцем, хотя в зрелые годы мог уделять любимому занятию не так много времени. Не случайно и то, что его дочь (а для меня и друг детства) Лидия Сергеевна Давиденкова стала прекрасным, признанным художником, успешно совмещая творческую работу с профессорством в Академии художеств им. И.Е. Репина. В тех же старых семейных фотоальбомах сохранились памятные снимки: С.Н. Давиденков рядом с И.П. Павловым, а вот он же с моим отцом, которого Сергей Николаевич считал наиболее одаренным из своих учеников.

Тридцатые годы были, пожалуй, в научной жизни отца самыми событийными. Один за другим публиковались его труды в солидных журналах и сборниках; регулярно выступал с докладами на всесоюзных конференциях и съездах психоневрологов. Без защиты диссертации была ему присвоена степень кандидата медицинских наук, а в 1937 г. он успешно защитил свою докторскую диссертацию. В 1938-40 гг. по совместительству руководил нейрогистологической лабораторией в Институте охраны здоровья детей и подростков. На протяжении двенадцати лет был бессменным ответственным секретарем Ленинградского научного общества невропатологов и психиатров.

Вспоминал папа об этом времени с двойственным чувством. С одной стороны, интересная работа поглощала его целиком, делала жизнь наполненной и содержательной. С другой — все люди его круга жили тогда в тревоге и непреходящем страхе, прислушиваясь по ночам к звукам проезжающих машин. К счастью, отца, его учителей и ближайших коллег репрессии непосредственно не коснулись, и в самом конце тридцатых как будто бы можно было даже вздохнуть чуть свободнее. Но относительное спокойствие длилось совсем не долго: на пороге уже стояла война.

Сравнительно недавно, в 2000 г., вышла в Одессе книга "Одесский

медуниверситет. 1900-2000", где есть глава о кафедре нервных болезней, а там с полстранички — об отце, трудившемся на этой кафедре с 1956 по 1973 г. Военным годам в жизни профессора Г.Г. Соколянского посвящена там одна лишь фраза: "В годы войны (1943-1944) заведовал кафедрой нервных болезней Самаркандского медицинского института...". Автор этого раздела (вычислить такого несложно, но называть фамилию что-то не хочется) *по рассеянности* или намеренно упустил из виду первые два года войны. В 1941-42 г. находился отец в блокадном Ленинграде, оставаясь в штате ГИДУВ'а и, кроме того, регулярно работая консультантом военных госпиталей. Пережил самое голодное время, а впоследствии был вывезен из осажденного города в состоянии дистрофии. Был награжден медалью "За оборону Ленинграда" и наградой этой дорожил чрезвычайно.

В январе 2004 г. отмечалось 60-летие прорыва Ленинградской блокады. Даже немецкое телевидение уделило этой дате внимание, а я, просматривая страшные документальные кадры и в который раз видя на экране изможденных, замерзших ленинградцев, думал, конечно, о том, **что** довелось пережить отцу в то тяжкое время. Последствия блокады и на его здоровье сказались, и в житейском поведении давали себя знать. Уже в относительно сытые первые послевоенные годы не мог спокойно смотреть на то, как мама чистит ножом картошку и выбрасывает очистки: ведь картофельная шелуха была в годы блокады *едой*. После обеда хлебные крошки смахивал в ладонь и отправлял в рот, и несколько лет не мог от этой привычки отучить себя. Такие детали, увиденные воочию, говорили о страданиях, перенесенных блокадниками, по-своему не меньше, чем книги или кинофильмы об осажденном Ленинграде.

В 1943 г. получил он назначение заведующим кафедрой нервных болезней Самаркандского мединститута; туда же добрались из сибирской эвакуации и мы с матерью. В конце 1944 г. был папа переведен на такую же должность в Ярославский мединститут, и семья наша переехала в приволжский старинный Ярославль. С этим городом связаны двенадцать лет жизнедеятельности отца.

Не так давно мой сын Андрей, любящий в свободную минуту поискать в Интернете что-то новое о себе и о своих предках, позвонил из Нюрнберга и сообщил новый электронный адрес: "Посмотри, отец! В книге об истории Ярославской медицинской академии очень тепло пишут о деде". Действительно, очень тепло и, думаю, по заслугам. Отец, по сути, "с нуля" создал в Ярославле крепкую кафедру нервных болезней, организовал там научное общество невропатологов и психиатров, кото-

рое возглавлял более десяти лет, немало сделал для улучшения лечебно-неврологической помощи в Ярославской области. Мне довелось в разных городах встречать людей, которые либо лечились, либо учились у профессора Георгия Гавриловича Соколянского в Ярославле и вспоминали его исключительно добром.

Между тем на Ярославский период жизни выпали тяжелые испытания. Ведь там застал папу рубеж 1940-х — 1950-х гг. — самый мрачный для отечественной науки советского времени период. Прошли в конце 1940-х годов печально известные сессия ВАСХНИЛ и т. н. Павловская сессия, началась *охота на ведьм* — ученых, "не соблюдавших чистоты мичуринского и павловского учений". (Разумеется, великий физиолог И.П. Павлов и провинциальный селекционер И.В. Мичурин никак не повинны в рвении блюстителей *идеологической чистоты*.) Поносились "лженаука" генетика, а у отца еще в 1930-е гг. вышел ряд серьезных трудов по клинической нейрогенетике, основоположником и признанным лидером которой в стране был его учитель академик Давиденков. Нашелся на кафедре и "борец" с *безродным космополитизмом* (в каком же советском коллективе они не находились!), подсчитавший, что на кафедре работают трое евреев (два ассистента и препаратор) да к тому же у профессора — жена-еврейка. Тяжкий был период, много нервов потрепали отцу: работала на кафедре комиссия министерства, обсуждали "кадровую политику" профессора Соколянского на ученом совете, вынесли ему строгий служебный выговор с предупреждением. (Будь он членом партии, наверное, исключили бы его "из рядов" с более суровыми *оргвыводами* по служебной линии, но тут не повезло комиссионерам: отец был глубоко беспартийным человеком.)

Ярославская глава его жизни могла бы быть и короче. В 1950 году Г.Г. Соколянского избрали по конкурсу профессором кафедры нервных болезней Первого ленинградского мединститута им. И.П. Павлова. Кажется, только трудности с решением *квартирного вопроса* удержали родителей от переезда. Отца, конечно же, тянуло в город на Неве, где прошло его профессиональное становление, но вместе с тем он был настолько предан своей повседневной работе, что и все то, что делалось в Ярославле — на кафедре и в клинике — воспринимал как свое, крайне важное, необходимое, нисколько не тяготясь мнимой "провинциальностью" своего положения.

Переезд в Одессу состоялся в 1956 г. в связи с ухудшением здоровья матери, которой терапевты рекомендовали южный приморский климат. Отца с черноморским городом, по сути, ничего прежде не связывало,

но именно Одессе суждено было стать его последней пристанью¹. Прожил он здесь более четверти века — дольше, чем в каком-либо другом населенном пункте. Заведовал кафедрой нервных болезней Одесского медицинского института, возглавлял научное общество невропатологов и психиатров в Доме ученых, был областным невропатологом. Регулярно участвовал в работе республиканских и всесоюзных конгрессов психоневрологов, входил в состав редакционных советов двух солидных журналов — Журнала невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова (Москва) и "Врачебное дело" (Киев).

Привязанность к Одессе возникла у отца сама по себе, как-то незаметно даже для окружающих. Причем эту привязанность он никогда не декларировал, не распинаясь в любви к симпатичному городу, его обитателям, не заявлял, что *видит свою задачу в служении этим людям*. Вообще показная декларативность была совсем не в его характере. Просто выполнял свои профессиональные обязанности, добросовестно и квалифицированно делал свое дело, памятуя и о данной некогда клятве Гиппократу, и о тех обязанностях вузовского педагога, представление о которых получил он от своих замечательных учителей.

Был момент, когда пребывание нашей семьи в Одессе могло завершиться. В 1961 г., после кончины академика С.Н. Давиденкова, отец получил от ректора Ленинградского института усовершенствования врачей официальное приглашение подать на конкурс по замещению должности заведующего осиротевшей кафедрой — флагманской (в то время) неврологической кафедрой страны. Такое лестное предложение вызвало непростые раздумья и колебания, но, в конце концов, поблагодарив за оказанную честь, отец отказался от ленинградского варианта, и мы остались в Одессе. Наверное, в таком выборе сыграли свою роль разные факторы: и возраст папы (в 62 года не так уж сильна "охота к перемене мест"), и состояние здоровья мамы, и та органическая симпатия к черноморскому городу, о которой шла речь выше.

При всем при том, положив руку на сердце, следует сказать, что полной гармонии с одесской ментальностью, одесскими нравами и обычаями у него не было. Прошу читателя-патриота великодушно простить меня, но позже и на своем собственном опыте убедился я, что при всех очевидных достоинствах (живость характера, общительность, чувство юмора и пр. и пр.) у многих жителей Одессы, не говоря уж о временщиках-культуртрегерах, сложилась какая-то особая шкала ценностей, согласно которой лишь то зо-

¹В 1982 г. в Одессе он ушел из жизни, и прах его упокоился на Таировском кладбище.

лото, что блестит; одесситы традиционно и по преимуществу ценят красивую оболочку, выразительную риторику, громкость и импозантность.

Этими-то качествами природа отца моего не наделила. Он не был ярким ритором, имел негромкий, глуховатый голос, при публичных выступлениях часто прокашливался. Посему услышать в его лекциях и докладах главное, уловить глубокую содержательность могли лишь избранные студенты и коллеги — наиболее толковые и вдумчивые, наименее суетные. Один врач, которому в студенческие годы довелось слушать лекции отца лишь в течение одного семестра, говорил мне впоследствии, что после того, как вышедшего на пенсию профессора сменил другой лектор, склонный к показному витийствованию и "шумовым эффектам", количество студентов, отдававших должное содержательности лекций отца, резко возросло: все познается в сравнении.

Не был он человеком "общественным" в советском смысле слова: безумно не любил всякого рода рутинных собраний-заседаний, никогда не тянулся по поводу и без оного к трибуне, без специального вызова не посещал начальственных кабинетов. Терпеть не мог самовосхваления, саморекламы, никогда "не надувал щеки". Ему была абсолютно чужда непоколебимая уверенность в правильности поставленного им диагноза или назначенного лечения — качество, которое многие пациенты-одесситы (что греха таить!) так ценили в лечащих врачах.

Знал он, действительно, много, но в лечебной работе избегал беспелляционных решений. Нередко говорил, что разнообразие человеческих организмов требует строго индивидуального подхода к каждому пациенту, к каждому случаю. Свято соблюдал главную для врача заповедь: "Не навреди!". Вспоминал притчу, услышанную еще от своих наставников:

— Лечение происходит обычно так. В темной палате находятся двое: болезнь и больной. Входит врач с дубинкой и лупит в темноте наугад: один раз — по болезни, два раза — по больному.

Такая методика борьбы с заболеванием совершенно не устраивала отца; потому-то он и не был чужд сомнений в поисках единственно правильного пути лечения или профилактики болезни. Когда не знал такого пути наверняка, не стыдился признаваться в том ни коллегам, ни пациентам.

Здесь говорю я о профессоре Г.Г. Соколянском как враче. Действительно, каких бы высот в науке он ни достиг, в первую очередь ощущал себя **врачом**. К больному подходил не как величественный олимпиец, всем видом утверждающий свою способность совершить чудо, но как внимательный собеседник, уважающий в любом пациенте человеческую

личность и искренне расположенный помочь ему. Не случайно его обходы больных в клинике занимали добрую половину рабочего дня, а консультация одного поликлинического больного продолжалась, как правило, около часа.

Когда папа вышел на пенсию, его пригласили консультировать неврологических больных в единственной тогда в городе хозрасчетной поликлинике. Он начал там работать, но это сотрудничество вскоре закончилось. Выяснилось, что по нормам того лечебного заведения больному на визит к профессору отводилось 15-20 минут, а самому-то профессору требовалось для серьезного осмотра и опроса не менее 40 минут. Очень уж несхожими были установки консультанта и учреждения: поликлинике нужно было зарабатывать деньги, а профессору хотелось помочь больному.

Нельзя сказать, чтобы так уж везло ему в Одессе с учениками, тем более что был он почти полностью лишен возможности самостоятельно подбирать себе сотрудников и аспирантов (комплектация штата кафедр была прерогативой ректората и парткома). Тем не менее, в возможности большинства своих подопечных верил, стремился помочь им и профессионально, и организационно. Переживал, когда видел, что способный ученик не проявляет достаточного упорства и трудолюбия, а энергично продвигается по служебной лестнице человек шустрый, не слишком преданный врачебной и научной (в истинном смысле) работе, компенсирующий отсутствие знаний и дара божьего своей повышенной партийностью, "общественной активностью" и умением ловко устанавливать полезные связи на всех уровнях.

Слово "ученый" подверглось за прошлый век значительной девальвации. Что тому причиной, не знаю: может быть, виноват советский официоз или сказалось влияние западных языков, в которых этому слову не придается столь высокого смысла. Отец избегал этого громкого определения по отношению к себе и ближайшим коллегам, предпочитая более спокойные: *научный работник, педагог, специалист*. Между тем, по мнению ряда крупных невропатологов, с которыми мне довелось беседовать уже после кончины отца, он был **ученым** в подлинном смысле слова. И дело не только в том, что продолжал он традиции прекрасной психоневрологической школы и уж тем более не в количестве опубликованных трудов или выпущенных диссертантов. (Когда диссертанты и собственные публикации поставлены "на поток", цифры нередко зашкаливают за пределы разумного, а это сразу же настораживает и порождает сомнения в основательности и добросовестности "рекордсменов".)

Профессору Г.Г. Соколянскому удалось сказать **свое** слово в нейро-

гистологии, заниматься которой он любил всю жизнь. Как писал один из его учителей Евгений Леонидович Вендерович, отец "с юных лет был вооружен изощренным гистологическим и патогистологическим зрением". На этой ниве он оставил заметный след. К примеру, разработанный им метод окраски миелиновых волокон до сих пор используется гистологами и известен как "метод Соколянского". Но не меньшее место заняла в его жизни клиническая медицина, где он много сделал и как врач, и как исследователь. Описанный им "синдром внезапного натяжения" при пояснично-крестцовом радикулите вошел в словари неврологических симптомов и синдромов как "синдром Соколянского". По мнению признанных специалистов, не утратили своей ценности многие труды отца, посвященные лечению самых разных, в том числе сложнейших и наименее изученных в его время заболеваний нервной системы. Вообще его научная деятельность была отмечена завидной для клинициста многогранностью.

Как известно, всякий врач начинается с *человека*, то есть с личности, которая призвана вызывать расположение и доверие к себе. Пожалуй, к невропатологу такое правило относится прежде всего. Отец в этом отношении характерологически удивительно соответствовал своей профессии. Никогда не раздражался, не повышал голос, не позволял себе высокомерия или насмешки по отношению к собеседнику; и пациента, и студента (даже самого нерадивого) выслушивал с вниманием и завидным терпением. Был человеком уравновешенным и сдержанным в самых напряженных ситуациях. Любя с гимназических лет многие латинские пословицы, часто напоминал мне поучительную максиму Сенеки:

Imperare sibi maximum imperium est.²

Была еще одна особенность у отца как клинициста: он многое умел из того, что, казалось бы, относится к арсеналу врачей иной специализации либо вспомогательного медперсонала. Мог прослушать больного, страдавшего какими-либо внутренними заболеваниями, и услышать шумы в сердце или легких не хуже опытного терапевта. Не хуже манипуляционной медсестры мог сделать любую инъекцию, включая и внутривенные уколы, и новокаиновую блокаду в области позвоночника и т. д. В особо сложных случаях сам делал пункцию — извлекал у пациента спинномозговую жидкость. От его сотрудников — и в Ярославле, и в Одессе — слышал я, что у отца "прекрасные руки".

Работа была для него **всем**; работе отдавал едва ли не все свое время. Уходил в клинику утром, как правило, в одно и то же время, возвращался

²Власть над собой — высшая власть

не ранее пяти часов пополудни. Кроме того, были и консультации, и заседания научных обществ, и прочие внекафедральные дела. За своим письменным столом засиживался обычно допоздна. Если на следующий день предстояла очередная лекция для студентов, готовился к ней так, как будто не знал этого материала досконально и не читал лекции на эту тему уже много-много лет.

В кругу его коллег-друзей из разных городов было немало крупных ученых — и морфологов, и клиницистов. С некоторыми из них мне повезло встретиться, назову лишь несколько имен: видный физиолог академик Б.Н. Клосовский (Москва), член-корреспондент Академии медицинских наук Е.Ф. Давиденкова-Кулькова (Ленинград), профессора Д.Г. Шефер (Свердловск), Д.Т. Куимов (Новосибирск), А.С. Ионтов (Ленинград), П.М. Сараджишвили (Тбилиси), В.Н. Ключиков (Ярославль) и другие. Помню, с какой теплотой и уважением относились они к отцу, видя в нем и солидного специалиста, и приятного, душевного человека.

Все, кто общался с отцом по службе или по душе, неизменно отмечали его поразительную скромность и простоту. То не была сомнительная простота из поговорки — простота, что "хуже воровства". Его благородная простота органически сочеталась с подлинной интеллигентностью, проявлявшейся во всем, начиная с внешнего вида. Всегда был аккуратен, подтянут, вплоть до нескольких последних лет жизни молодежав. Никогда не позволял себе даже дома, во внерабочее время выйти в гостиную, где находились посторонние, знакомые или незнакомые люди, без пиджака и галстука или в шлепанцах. Никогда не оставлял ни одного письма, полученного даже от самого случайного и малознакомого корреспондента, без ответа. Писал сжато, но безукоризненно грамотно и стилистически точно: сказывались уроки классической гимназии.

Необычайная скромность и, риску сказать, непохожесть на многих известных одесситам профессоров медицины проявлялась и в быту. В семье нашей — военные годы не в счет — не знали нужды, но никогда не было ни дачи, ни автомобиля, ни каких-то других признаков *избыточного* (по меркам советского времени) комфорта. Не случалось в жизни отца зарубежных научных командировок, да и за границей-то он был один лишь раз, не без трудностей "попав" — вместе с мамой — в туристскую поездку по Болгарии. Причем все эти блага (?) отнюдь не были предметом вождлений: отец не только не переживал по поводу их малости или недостаточности, он просто об этом не задумывался, поскольку в жизни его занимало совсем не то.

Думаю, никто из сотрудников или друзей не назвал бы отца человеком

практичным. Скорее наоборот — во многих вопросах, не касавшихся его специальности, он частенько проявлял поразительную наивность. Склонен был идеализировать людей, преувеличивать их интеллектуальные возможности, верить любому человеку на слово. Потому-то и обманывался нередко, хотя убеждался в собственном заблуждении с явным опозданием. Однако и в крайних случаях огорчался ненадолго, а в минуты расстройств не впадал в "тяжкий грех уныния". Не будучи самоуверенным человеком, был внутренне **уверенным**, уравновешенным, не склонным к резким эмоциональным всплескам.

В апреле 1999 г. по случаю столетия со дня рождения отца в одесском Доме ученых состоялось мемориальное заседание научного общества невропатологов и психиатров. Устроители заседания "забыли", к сожалению, послать мне даже формальное приглашение (не смог бы прибыть в Одессу, так непременно отреагировал бы эпистолярно), но добрые люди — спасибо им! — сообщили о заседании *post factum* и прислали фотографии, которые вызвали радостные чувства. Имею в виду не столько панораму президиума, сколько зал, в котором значительную часть собравшихся составляла молодежь. Понравилась выражения лиц молодых врачей и научных работников (а, может быть, и студентов-старшекурсников?), не скучающих, не отбывающих повинность, а внимательно, серьезно, заинтересованно вслушивающихся и вдумывающихся в то, что говорилось о профессоре, у которого им уже, судя по возрасту, не довелось учиться. Значит, какая-то преемственность в одесской неврологии все-таки намечается, и у нынешней молодежи, по необходимости достаточно прагматичной, не исчезла тяга к чему-то истинному, ценному.

Смотрю на присланные снимки и различаю портрет отца в глубине сцены Зеленого зала Дома ученых. Это увеличенное фото, запечатлевшее его уже в поздние годы жизни, на памятном вечере было призвано познакомить младшее поколение психоневрологов с "бывшим живым" человеком, чьи серьезные заслуги во врачебной и научной работе неоспоримы. Мне же, как правило, вспоминается отец в более ранние периоды своей жизни. Старые фотографии из семейного альбома подкрепляют визуальную память, но дело, разумеется, не только в снимках. Облик отца в более молодые его годы задержался в моем представлении надолго... навсегда, и, думая о нем, про себя в который раз повторяю слова шекспировского Гамлета, вынесенные в название этих заметок.

Любек, ФРГ